





Франсуа Ожьерас

# СТАРИК И МАЛЬЧИК

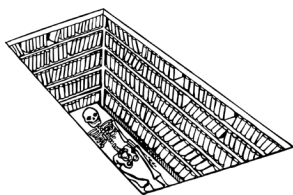
*Перевод Алины Поповой*



Kolonna Publications  
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр

58t



**François Augiéras**  
**Le Vieillard et l'enfant**

Редактор: Дмитрий Волчек

Обложка: Алексей Кропин

Верстка: Дарья Громова

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

*В оформлении обложки использована картина  
Франсуа Ожьераса «Абдалла» (1960)*

©1963 by Les Editions de Minuit

© Kolonna Publications, 2018

ISBN 978-5-98144-243-8

## Зирара

5

Думаю, наши союзники из местных были, как и я сам, не слишком уверены в своей правоте: они колебались, им было стыдно сражаться против своих братьев по крови. Нам, правда, нравилось носить оружие, но не очень-то хотелось выходить с ним на противника, который, может статься, давно следит за нами с верхушек окрестных скал: никто из нас на самом деле не хотел выгонять отсюда этих людей, мы вообще не спешили с ними встречаться. Считалось, что мы контролируем перемещения в определенной зоне, хотя наше присутствие там было чисто символическим, ведь Зирара – просто укрепленный пост чуть в стороне от дороги на древнем караванном пути в очень красивом месте поблизости от оазиса Эль-Голеа. По существу, мы представляли собой всего лишь флаг на вершине скальной гряды.

Не зря говорят, что пустыня отбивает охоту делать что бы то ни было в полную силу. Два-три семейства кочевников, всегда одни и

те же, являлись к нам, чтобы набрать воды и, не проронив ни слова, отправлялись восвояси; теперь они в точности знали, сколько нас и как мы вооружены, а мы не имели никакого представления о том, что против нас замышляется. Кочевники из более отдаленных районов, когда встречались с нашими усердными патрулями, не могли не видеть, как вязнут наши грузовики, и на все вопросы отвечали, что знать ничего не знают, хотя наблюдатели с воздуха сообщали о перемещениях вооруженных отрядов с севера и о том, что партизаны Белуни<sup>1</sup> опять готовятся к бою, поднакопив оружия и снаряжения; кстати, многие из этих разрозненных отрядов были не прочь сдать на милость победителя, от них остались жалкие кучки людей, которые бродили, не зная, куда податься, готовые отбиваться или сдать оружие, если их пообещают не расстреливать.

Все это казалось неправдоподобным в безукоризненной тишине пустыни в разгар сахарского лета; единственным напоминанием о противнике были следы на песке, наполовину заметенные ветром. Тем не менее, полностью исключить возможность нападения мы не могли.

---

1 Мохаммед Белуни в 1955 г. основал военизированное крыло Алжирского национального движения. (прим. перев.)

Что такое Зирара? Представьте себе форт (здесь говорят: бордж) с ярко-белыми зубчатыми стенами на вершине скальной гряды. Кругом – пустыня. Колодец на равнине, несколько верблюдов. Зирара – форт, уменьшенный до минимума, сведенный к абстрактной идее, и жизнь там была ничуть не похожа на казарменную, наоборот, царила непринужденность, обычная для колониальных войск: в свободное от караулов и патрулирования время каждый был предоставлен самому себе, с виду – никакой дисциплины, даже некоторая беспечность, в которой ничто не мешало мне сосредоточиться на собственных мыслях.

7

Как-то утром, оставив грузовики под охраной нескольких солдат за песчаной дюной, мы цепочкой двинулись вперед с ручным пулеметом и стали медленно взбираться по длинному склону к нагромождению скал на вершине. Тяжелый патронташ бил по ребрам, я шел босиком, загорелый, мышцы напряглись на тяжелом подъеме, воздух был по-утреннему невинен и свеж; меня убьют на этой бессмысленной войне, вот что меня ждет, повторял я себе, карабкаясь по склону впереди товарищей, которые молча следовали за мной. Добравшись до самого гребня, мы ничего не увидели, кроме бескрайней пустыни; осмотрели в бинокль безлюдные просторы, потом возвратились к грузовикам.

Обратно вернулись уже к ночи. Фары грузовиков осветили склон у подножия поста, потом из темноты выступили наши белые стены, потом – большие ворота, которые мы заперли, как только въехали во двор. Я поднялся на крышу, заступил в караул, отстегнул патронташ и положил его между двумя зубцами стены рядом с винтовкой, с резким щелчком вогнал в винтовку патрон; гильзы мягко поблескивали в свете первых звезд. Само собой, я не нарушу своих обязательств перед Францией, но все-таки здесь, в Африке, я служу, в первую очередь, своей собственной судьбе. Что это – тяга к приключениям, путь одиночки? Пока я сражаюсь непонятно с кем на этих бесконечных рубежах, партизанская война уже охватила весь мир.

Из-за скал за фортом встала луна. Все вокруг было погружено в сон, один я не спал и сжимал в руках винтовку. Наши крыши ярко белели во мраке ночи, составляя резкий контраст с темным двором. В этом выбеленном известью мире тут и там виднелись серые пятна одеял, прикрывавших неразличимые под ними тела арабов, которые спали на крышах. Я сделал несколько шагов в тихом и жарком воздухе, накинув через плечо патронташ и стараясь не наткнуться на спящих: кто-то невнятно бормотал, кто-то во сне выбрасывал из-под одеяла руку, а лица у всех были закрыты, как у покойников.



От их безмятежности мне только сильнее хотелось разобраться в самом себе. Сон глубоко религиозных людей – зрелище впечатляющее, но не хуже действуют и бесконечные раздумья о своей судьбе; там, на крышах Зираны, среди спящих, я один бодрствовал, моя тень медленно двигалась по их телам. Тут были одни арабы, все свободолюбивые, все – одиночки, все – верующие, одержимые верой, подобно тому, как сам я был одержим своим приключением, а еще сильнее – судьбой своих разноцветных книжечек, которые я разослал из пустыни, ничего не зная о том, что значит быть писателем. Я обдумывал свою жизнь, сам себе выносил приговор перед лицом ночных светил, и моя судьба, на которой нечто непоправимое, близкая опасность, уже как будто поставили крест, представлялась мне чем-то вроде схемы, последовательности знаков.

9

Когда-то давно я жил к северу от оазиса Эль-Голеа, между пальмовых рощ, в форте, превращенном в музей, у отставного полковника, который обращался со мной почти как с рабом.

Полковник, в общем-то, был не таким уж и жестоким, порой он даже удостаивал меня чести беседовать с ним и выслушивать его рассуждения на разные темы, чаще всего – о том, как презренно желание остать-

ся в людской памяти или, хуже того, в памяти Божьей. Он был по-своему добр и стал учить меня французскому, но в те самые годы зазвучали глухие раскаты алжирского бунта; как-то вечером я увидел в его глазах страх, и с тех пор наши уроки прекратились.

10 Тогда во мне и зародилась непоколебимая вера в силу слов; я догадался об их власти и могуществе в дни своего унижения. Я понял, как мне одержать верх; я решил поведать всему миру о странных делах, которые творились в музее среди пустыни, рассказать обо всем, прокричать о своем отчаянии; так я отомщу наконец бездушному отставному полковнику.

Я осваивал искусство обвинителя; неразборчивые каракули, целые страницы, исписанные под звездным небом в какой-то скальной расщелине, были обращены не просто к людям, не просто ко всему миру, но главное – к моей собственной бессмертной душе и к Богу. Я писал, чтобы писать, чтобы объяснить перед лицом моего Творца, моего Судьи; я был невероятно унижен, я не верил в свою способность писать, я остался совсем один и у меня почти не осталось надежды, что люди когда-нибудь примут меня. К тому же я был чуть ли не преступником, и это окончательно отрезало меня от мира; я писал для Бога, для самого себя. Я рассказывал обо всем без утайки и не обращался ни к кому.

Пока не наступил день, когда мне стало стыдно быть таким несчастным. Мои кошмарные блокноты, явившиеся из самых глубин африканской тьмы, показались мне не такой уж безделкой, эти страницы, привычные к свету звезд, могли кому-то понравиться. Бог безмолвствовал; оставались люди.

Эти скромные блокнотики из пустыни, тайно переправленные на почту, едва различимо отпечатанные в Бельгии на разноцветной бумаге, синей как ночь, желтой или розовой, отосланные из Уарглы, из Туггурта, из Гардаи – в Европу, Азию и даже на острова Океании; ну какие это книжки – просто блокнотики, протертые резинкой до дыр, засалившиеся от моих рук, неумело запакованные в толстую синюю бумагу, в которую здесь заворачивают кусковой сахар: эту оберточную бумагу я добывал в лавках оазисов и одновременно выписывал адреса из литературных журналов, которыми обзавелся заранее.

На первый взгляд, все обстоятельства были против меня: положение мое было странным и скандальным, свои книжечки я рассылал наугад, моя нищета и уязвимость тоже не улучшали дела. Но мне казалось, что только в таком одиночестве, в такой безысходности и стоит писать: я ждал чуда, ждал, что сама пропасть между моими ничтожными блокнотиками и литературой того времени сослужит мне добрую службу; как бы я не был несведущ, я понимал ценность своего неот-

санного текста. Я верил в то, что он останется, победит все ночные опасности; кто-то ведь должен на него откликнуться, и хотя я был просто мальчишкой, но верил, что какие-нибудь писатели обратят на меня внимание: там, в пустыне, в пятидесятые годы у них был неведомый соперник.

12 Итак, ход сделан, – и никакой реакции. То был отчаянный рывок к ночным светилам – кажется, я замахнулся на невозможное. Под звездами проплывали густые облака, я больше не писал, и никакое эхо не откликнулось на мой голос. Я прокричал о своем отчаянии впустую. Я уже решил, что сам Бог закрыл мне путь к людской памяти, ведь это прежде всего к нему я обращался, это в его руках была моя судьба, ведь то, что ждет мою душу, чем кончится эта история в пустыне, зависело только от Него и от меня. Я совсем отчаялся, а мои книжечки тем временем уже жили своей, неизвестной мне жизнью.

Потому что они уцелели, вырвались из забвения, как я и рассчитывал. Странная им выпала доля: разноцветные, еле читаемые блокнотики явились из Африки, словно жалкие выброшенные морем обломки, по невероятной случайности всплывшие и опубликованные<sup>2</sup>. Я был слишком юн для

---

2 Первый вариант текста, который вам предстоит прочесть, наскоро составленный из содержимого блокнотов, опубликован в 1954 г. в изд-ве «Editions de Minuit».

такого великолепного сюжета; потом, четыре года спустя, мне стало ясно, что те выжившие блокнотики были только криком о помощи, а настоящую книгу еще нужно написать. Имел же я право оживить в своей памяти истинную глубину той трагедии, рассказать все как было, ничего не упустив, и, сохранив дикарскую наивность первого текста, переписать его внятными простым языком, хотя бы ради тех, кто мне тогда помогал.

13

Сколько в нем лишнего! Это ведь был просто выплеск гнева, панический порыв писать в непосредственной близости к Богу под звездным африканским небом и просто трагедия ребенка, низведенного в рабство; вот сюжет для небольшой книжки, думал я, неся свой караул на крыше Зирары. Тогда, в дни унижения, я открыл для себя силу слов; теперь же, когда мне грозит смерть, я решил внятно пересказать ту историю.

*Крыши Зирары, август 1957*



Я увидел в пустыне странное место: заросли светлого кустарника, через них текли ручейки, было там и болото, и еще я услышал журчание источника. Под ночным небом в конце длинной дороги возвышалась зубчатая стена, окружавшая просторный двор с постройками ярко-алого цвета.

На одной крыше поблескивала в лунном свете железная кровать.

Я позвал хозяев, стоя спиной к пустынным скалам, пытаясь перекричать лай собак, разбуженных моими шагами – по песку босиком, и потрогал деревянные ворота, замкнутые для надежности цепями, тогда негр зажег лампу и под звездным небом появился старик.

Он не слишком церемонился, просто велел мне сесть к столу, открыл какой-то шкаф и дал мне то, о чем я мечтал. Он выложил передо мной хлеб, сардины, тетрадь в клеточку, перо и чернила, а сам сел по другую сторону накрытого клеенкой стола и молча меня

разглядывал; когда я подобрал последние крошки, он стал диктовать мне французские слова, потом проверил, знаю ли я географию и историю Франции. Набросал в тетради несколько задачек, какие решают в начальной школе, и вышел.

16 Комната была бедная, почти без мебели, и там, в ночной тишине, мне стало ужасно грустно. На стенах развешаны фотографии мальчиков моего возраста в деревянных рамках, память о временах, когда он служил офицером. Он вернулся, открыл сейф, вмурованный в стену, достал какой-то ключ.

– Что это за ключ?

– Ключ от кладовки с продуктами.

Когда он прошел мимо, я встал, чтобы уйти и поблагодарил его за щедрость.

– Так я и думал, – сказал старик, – ну-ка, садись.

Я вернулся на свое место перед недорешенными задачами.

– Задачи мне не так уж и важны, главное – оправдать доверие, ты скоро поймешь. Я наблюдал за тобой: ты порядочен и неплохо воспитан, образования тоже хватит.

После этого он дал мне пару одеял и вышел из комнаты.

На дворе зима, и в его печальном жилище непрерывно горит огонь. Каждый вечер он прижимает мое нежное плечо к своей груди.



Старик засыпает, а я не сплю. Он говорит, что он мне как отец, но я люблю только Бога и поклоняюсь ему одному – он мой Создатель и Судья.

У нас в хлеву волнуются козы; мне нравится в их сарайчике, нравится, как тепло в стойлах, а вот его я ненавижу. Он идет через двор под шквальным ветром; он гладит меня по голове, и тут его осеняет. Возвращается к себе, достает из футляра циркуль и замеряет мой череп:

17

– Ты интересней всех, кто здесь жил. Твои предки – из Ирана, а глаза у тебя голубые, как у берберов. – И он зарисовывает форму моего черепа в почти полностью исписанный блокнот, где полно имен:

– Иди, посиди со мной у камина.

Дым ест глаза; но снаружи жуткий холод, к тому же там я бы помер с голоду. Я слежу за огнем, ворошу пальмовые ветки в камине. Мне плохо, слезы наворачиваются на глаза; я выдумываю какой-то предлог и выхожу.

– Не задерживайся! – кричит старик.

Плачу, припав к стволу эвкалипта у клеток с горлицами, в темноте, уткнувшись лбом в кору между нижних веток. Совсем рядом – клетки, в них, посаженные на цепь, спят обезьяны. Слышны только мои всхлипы, да птицы шуршат на жердочках. Возвращаюсь назад, к нему, дверь рвет из рук мощные порывы зимнего ветра.

Он дал мне солдатскую форму, и я ношу ее, стянув веревкой, чтоб не болталась.

– Сегодня будешь пасти коз.

Я гоню свое стадо к саду засохших деревьев – их ветки словно из соли или из снега. Между перламутровыми скалами ветер намел и утрамбовал мелкий золотистый песок. На нем бороздки, как волны.

18 Свежий ветерок шуршит в кустах под синим бездонным небом, уходящим в бесконечность. Несколько птиц, обитательниц этих бесплодных и ясных склонов, выпорхнули из углублений в камне и взлетели, пронзительно крича. Я пасу коз под самой белой луной: до нее мне куда ближе, чем до дома, где живет мой “отец”. Потом я спускаюсь на равнину, отыскивая тропки в лабиринте скал, прямо у их подножия – оазис и пальмовые рощи.

Сам старик обходит свои заросли кустарника с западной стороны; упрется железной тростью в землю и смотрит, как исчезает солнце.

Я во дворе в углу жду, пока сварится суп. Старик запирает кладовку с продуктами и спрашивает, вернулся я или нет.

Негр несет тарелки и велит мне идти в дом моего отца. Там всего одна дверь, я стучу и вхожу, толкнув дверь босой ногой. Перед ним на столе на клеенке – шахматы; я старательно играю с ним партию и засыпаю у огня в солдатской форме, которую он мне дал.

На исходе ночи я уже шагаю навстречу рассвету, к белым холмам, – к вечной невинности мира. Шаг у меня размеренный, ровный, мне хорошо в шерстяной одежде, иду себе в пустыню, на голых плечах – солдатская шинель, переступаю в утренней благодати с камня на камень по безмолвным долинам. Ни единого облачка не видно на каменистых склонах, протянувшихся на восток куда дальше, чем я мог представить, гравий перемежают полосы прохладного сырого от росы песчаника; нигде ни звука, разве что ястреб крикнет над пустынным простором.

19

Снимаю и ставлю на песок сандалии из травы альфа, наматываю на голову выгоревшую на солнце голубую рубашку, разодранную о колючий кустарник. Там, в сопках у гранитных откосов на ветру, я преклоняюсь перед Богом, который дал мне душу. Ни перед кем другим я не буду держать ответ – только перед Всевышним, моим единственным Господином и Судьей.

Я веду свое стадо по пустыне с розоватым отливом к здешним скудным пастбищам, за спиной у меня винтовка, под шинелью – широкие голые плечи. Повсюду тишина и покой, на песке – ни одного отпечатка: ветер каждый день замечает следы недавних путников, оставляя только невинный рисунок из бесчисленных бороздок.

На закате я медленно возвращаюсь назад; за кустами Ширы всплывает луна. В моих каменных долинах воцаряется холод.

Вот стадо загнано в хлев, а я сажусь на ступеньки у входа. Я вижу, как он читает у камина. Он выходит, зовет меня, дает мне хлеба и мяса – среди зимнего холода и тишины.

20

Я сделаю то, что он хочет; запускаем граммофон; я вставляю швейную иглу, и мы слушаем музыку, сидя за столом. В карманах моей шерстяной шинели – песок, я утыкаюсь головой в ладони и закрываю глаза в ночной темноте.

Дует шквальный ветер. Строения проветривают: двери оставили открытыми, а чтоб не хлопали, подсунули под них сучья. Длинные серые облака бегут над пустыней, над пальмовыми рощами, в сторону болота – там повар зарезал попавшегося в силки гуся из Швеции, окольцованного в зоосаде Стокгольма. Полковник пишет в Стокгольм: хочет известить их о том, что птица добралась до Алжира. Он просит меня для тренировки надписать конверт – идем в дом, потолок поддерживают грубо вылепленные из глины разрисованные колонны. Потом он возвращается к трактату по геологии; разливаем в чашки и пьем кипящее какао, жжем пальмо-

вые ветки, пламя в камине вспыхивает, потом быстро гаснет, и я подбрасываю побольше сучков.

– Я наблюдал за тобой с крыши; в пустыне было грязно и сыро. Ты играл. Бегал навстречу ветру; так и быть, не стану тебя ругать за игру, но жалко, что ты плохо стережешь моих коз. Кстати, ты не сбежишь? Один маленький хулиган, которого я приютил, от меня удрал.

21

Не отвечая, сажусь на корточки перед камином. Целый час старик молчит. В его владениях теперь полный покой; слуга ушел; остались только пальмы да небо.

За столом меня знобит; он берет мою руку и наклоняется ко мне через стол.

– Ты сам виноват; бегаешь полуголый – продуло, наверное. Иди в мою комнату. – И сам очень быстро приходит туда же, в руке у него лампа, он ставит ее на ночной столик. Он ощупывает стекло, опасаясь, как бы абажур не лопнул, прикручивает пламя; подходит к узкому окну, выглядывает во двор, где все кажется белым в звездном свете, потом подходит ко мне, а я уже лежу на шершавых простынях, укрывшись нашим влажным одеялом. Он ставит мне банки. Я дрожу от холода, потом – от жары и засыпаю в его кровати у стенки, пахнувшей мочой и мылом; в комнате свалена старая одежда, стоят разлезшиеся от песка ботинки и деревенский буфет, едва

освещенный лампой. После одного или двух часов затишья над пустыней снова поднимается ветер и гремит по железным крышам.

22

Если старик ночью проснется, начинается настоящая тоска. Садится писать до самого рассвета. Резервуар в лампе наполнен до краев. Точит карандаши, чистит резинки – трет их об стену. Он набрасывает в тетрадке первобытных людей, распростертых у входа в пещеры, под звездным небом, в первые ночи этого мира.

Ему нравятся гнусные детали, зверские лица, а меня он заставляет копировать свои рисунки, рисовать как он. Потом, утром, мы отправляемся в пустыню, в сторону Большого Эрга. Полковник говорит, что камни, ограничивающие его владения, раскатило ветром; велит мне разглядывать камни на дороге и подбирать те, в которых видны окаменелые остатки древних ракушек. Я гоню мое стадо к серым скалам, к далеким орошенным дождем пастбищам, там и провожу весь день.

Вернувшись, я приношу ему в кровать хлеб, шахматы, чай; потом греюсь, прижавшись к нему. Спит он в засаленных, прогоркших от влаги кальсонах. Я шевельнул коленями под одеялом, доска наклоняется, шахматные фигуры соскальзывают, и расстановка меняется в мою пользу; он замечает эту хитрость и не на шутку расстраивается. Мы пытаем-

ся расставить фигуры как было перед моим жульничеством; только я точно не помню, в какой момент наклонил доску, в ту зимнюю ночь мы оба ни в чем не уверены. Договариваемся продолжить партию, начав со случайного расположения фигур. Потом я готовлю уроки, он дает мне книжку, которую самолично переплел, выглядит она довольно неаккуратно, это – “Мир до сотворения человека”, Камиль Фламарион, 25 сантимов, 1886 год, издание Национальной Библиотеки, издательство “Дебюиссон и К”, улица Кок Эрон, 5 и Люсьен Марпьон, 4-7, галерея Одеон, Париж. Сам он читает тоненькую школьную астрономию. Тусклая лампа гаснет. Я хочу встать и зажечь ее снова.

– Не уходи, – говорит он в темноте.

Я закрываю глаза, песчинки из моих волос сыплются в щель за кроватью, он обнимает меня, а наши оцинкованные крыши поблескивают в лунном свете, который постепенно заливает весь двор.

Меня изводит тоска. Я делюсь своим горем с поваром; если б мы не были в пустыне, он бы мне помог, ведь я прикрываю его делишки: у меня есть ключ от кладовки с продуктами и мне поручено каждый день отвешивать порции риса и муки.

Ветер пробирает до костей, и я прячусь в хлеву, в сырой теплой соломе; потом вхожу в дом, не говоря ни слова, словно посторонний, и сажусь у огня. Он минуту глядит на меня,

потом встает, захлопывает дверь и меня бьет. Я засыпаю среди бела дня на диване в гостиной, как озлобленное хрупкое животное, зализывая свои худые руки в прилипшей грязи и соломе. Когда я открываю глаза, негр вытирает мне кровь и слезы; ласково обмывает тряпочкой все мое тело. Мне становится лучше, мы отсылаем повара, и старик ложится рядом со мной. Пасмурно: небо в облаках; порыв ветра раздул золу из гаснущего камина – словно ткань в цветочек, французская шерсть. Он роется в шкафу, находит какую-то железную банку, откручивает ржавую крышку, там корпия и всякие мази, он натирает мне ноги. Пьем кофе с молоком, играем в гусек, бросаем фишки. Ему нравится мой интерес к астрономии; он говорит, что это добрый знак.

Потом он рисует землю после сотворения мира. Цветными карандашами – блестящие ледники, зеленые луга, озера и пещеры. Кусочком мела – снег на горных вершинах, тем временем гаснет лампа и пламя в камине. Он ставит перед камином таз, наливает теплой воды, и я моюсь. Он трет меня мочалкой. Я открываю дверь. В саду я достаю свою флейту и играю на ней при мерцающем свете звезд, пока не вылетят на песок штрихи тростниковых листьев. Оросительные каналы поблескивают под скалами, до которых в тишине ночи, кажется, рукой подать. Не слышно ни



птичьих голосов, ни лая собак. В безоблачной прозрачно-ледяной синеве высоко-высоко в бескрайнем небе над нашими выбеленными известью крышами плывет белесая бледно-лицая луна.

– Иди сюда, – зовет полковник.

Но я беру винтовку, патроны и ухожу за ограду, накинув на голые плечи одеяло. Я бегу к горам, в пустыню, где властвует Бог. Это его я люблю, а не того человека; один Бог мне хозяин, и больше никто; один Всевышний – мой Бог и Господин, один он, Всевышний, – мой Создатель и Судья. Тоска заставляет меня шагать и шагать хоть сотню лет. Я топчу ничем не запятнанный песок, чистейший, как в первые дни творения. Мои смуглые длинные ляжки дрожат от холода. Патронташ на поясе, складки одеяла и винтовка у самого уха раскачиваются при каждом шаге; я так несусь, что вот-вот взлечу на ветру; мне слышно, как гудят у меня в крови десять веков войны. Я одет, вооружен, я вижу синеву неба, гигантские белые каменные глыбы в прожилках, как у мрамора, нависшие над равниной. Я глотаю слезы, призываю в свидетели небо: я тоже человек, обладатель бессмертной души, и ухожу все дальше по розовым утесам, в каменистые долины, похожие на лунные кратеры.

Когда я возвращаюсь, он говорит:

– Зажги лампу, вот тебе спички.

Пламя разгорается, он заходит в дом вслед за мной, откидывает створку секретера, садится перед зеркалом, неподалеку от расшитого жемчугом абажура, и чертит карту своих владений; каждый месяц он рисует ее заново: меняются размеры болота, они зависят от того, много ли воды дает источник, нам как раз слышно его журчание. До меня тут жил молодой солдат-немец из разбитой армии Роммеля; он писал в пустыне в блокнотах и прятал их под камнями. Красным карандашом полковник обводит берег, а я тем временем засыпаю на диване в гостиной, такой вечер в Алжире.

Каждое утро на рассвете я вижу со своей крыши синее небо, темные утесы на фоне солнца и золотистую пустыню, высокие зеленые пальмы усеяны птицами, до меня долетают их крики. Я завязываю сандалии; спускаюсь во двор; так каждый день.

Мы узнаём время по солнечным часам и ставим лестницу, чтобы добраться до ходиков, висящих над камином. Стоя на верхней ступеньке, – мой отец тем временем держит лестницу внизу, – я завожу часы, стараясь не сдвинуть тряпочку, подсунутую в механизм, чтобы они не били: “тогда нарушится безмолвие пустыни”.

Умываюсь у родника. Капли воды на моих голых плечах высыхают на солнце. Уже три дня, как ветер стих и наступила весна. В теплой безмятежной сини кружат хороводом наши голуби.

Мы отвешиваем кило ячменя, старик посылает меня наполнить кормушки в птичьих вольерах, я вхожу туда через низкую дверцу.

Он вытаскивает из кармана листок и протягивает мне сквозь решетку:

– А что если я тебя не выпущу, пока не разгадаешь загадку?

Читаю:

СК и Ф  $\frac{А}{ХАРСИС}$  О5  $\frac{СТА}{ВИЛ}$  СОЛОНКА – К

28

Возвращаемся в дом.

– Не могу похвалить тебя за сообразительность. Вот решение ребуса:

1. СК и Ф = Скиф

2.

$\frac{А}{ХАРСИС}$  = А на Харсис: Анахарсис

3. О5 = Опять

4.

$\frac{СТА}{ВИЛ}$  = Под СТА ВИЛ : подставил

5. СОЛОНКА – К = СолонКа без К, получается: Солона.

Скиф Анахарсис опять подставил Солона.

– Остается выяснить, в одно ли время жили эти античные мудрецы и встречались ли они друг с другом.

Захожу в пруд. По бедра в воде между нижних ветвей фигового дерева прислоняюсь трепетным виском к глинистому скосу берега. На крыше я подставляю тело лучам солнца, циновка защищает спину от белой пыли, которой покрыта вся площадка, – известковая пыль, словно снег. По моим округлым широким плечам струится пот, солнце, стоящее в зените, обжигает смуглое пахучее тело, из-за толстых горячих губ лицо кажется шире, под ними видны белоснежные зубы. Полковник, в знак восхищения, весело хлопает себя по широченным брюкам: давай-ка я тебя здесь сфотографирую!

Он показывает мне летящих рябков. Эти сахарские голуби живут стаями сотен по пять в пустыне по ту сторону утесов. Раз в день, сделав круг на огромной высоте, птицы опускаются на болото, высматривая места помельче: несколько секунд они пьют, погрузив лапки в воду, потом взлетают с пронзительными криками.

– Если хочешь, возьми какую-нибудь из моих книг...

Я выбираю “Одиссею” в переводе Виктора Берара.

– Я не покупал эту книгу, это подарок книготорговца из Алжира, он раз в три месяца присылает мне ящик новых научных книг и бесплатно добавляет еще несколько книжек, которых я не заказывал, я их ставлю на полку и все. Дарю тебе “Одиссею”.

Открываю ее на скамейке. Все утро мы придумываем как ее надписать. Сначала все просто: “Моему дорогому Абдалле”, решаем, что дальше напишем: “дарю поэму о море, прочитанную в сердце Сахары”, а слово “бесчисленный”, которое Гомер так часто применяет к волнам, подходит также и к дюнам, раскинувшимся в нескольких километрах от наших деревьев. К одиннадцати часам готова фраза, которой он очень доволен: “дарю эту поэму о море, прочитанную в сердце Сахары, у берега бесчисленных дюн”.

В невозмутимой пустыне.

Яркое солнце. Бассейн, выложенный мозаикой, – без воды; там блаженствуют ящерицы.

– Ладно тебе, подойди, сядь поближе.

Ирисы и метелочки тростника.

Птицы.

Малюсенькие рыбки.

– Солнце слишком печет, чтобы сидеть в саду.

Перед музеем проходит длинная центральная аллея, там, у ворот, я жду, когда принесут продукты; к полудню из оазиса вернется негр с корзиной на голове.

В павильончиках выставлены коллекции: “Охота”, “Этнография”, “Я вспоминаю”, а в бывшем хлеву – “Первобытные времена”, из всех коллекций вместе сложился маленький сахарский музей. Газельи рога приделаны к цементным подставкам; в одной витрине выставлен

колониальный шлем, в другой – верблюжье седло с пояснением: “Этим седлом я пользовался с 1923 по 1927 гг.”; фотографии – абсолютно белые, как будто в кадр просто ничего не попало, – сделаны в те времена, когда бордж еще строился; под всеми этими экспонатами стрелка с надписью: «От военной жизни – к размышлениям»; геодезические приборы, сыгравшие свою роль в истории французского освоения Сахары.

31

– Смотри как тебе нравится, не хочешь портить тебе удовольствие.

Вот уже и туристы приехали. Визит проходит так: автобус останавливается у ворот, собака рычит и люди не решаются войти. Полковник не выходит из дома. Повар успокаивает собаку и спрашивает у путешественников, есть ли среди них важные особы. Путешественники дают свои визитки, и повар относит их полковнику, который иногда принимает кого-нибудь лично, а иногда – нет. Если он никого не счел достойным особых почестей, негр вводит всех во двор, раздает билеты, которые мы нарисовали сами, берет с них двести франков – он получает десять с каждой сотни, – потом идет с ключами к павильончикам и открывает двери. Для тех, кто хочет оставить мнение в Золотой книге, готовы перо и чернильница; промокашка, как будто невзначай, указывает на строку

с автографом Великого Генерала<sup>3</sup>. Сквозь маленькие окошечки в доме полковник из-за занавесок наблюдает за людьми; потом он отправляется читать в Золотой книге, что они о нем думают.

В тишине комнат раздается:

32

– Помнишь, ты как-то сказал, – ведь это твои слова? – что еще неизвестно, понравится ли твоей сестре, которая живет во Франции, как я с тобой обхожусь. Много ей дела до моих церемоний с мальчишкой-туземцем; однако от этой фразы попахивает шантажом; поэтому ты сможешь остаться у меня, только если подпишешь вот это, одиннадцать слов, повторяй за мной: “Клянусь честью, что офицер, у которого я живу, – мне как отец”. Писать будешь там, в конце галереи. Я опускаюсь на колени и медленно пишу, повторяя слова вслед за ним, подписываю.

Он закрывает дверь. Наши козы уходят вдаль через заросли светлого кустарника, больше напоминающие суданский пейзаж, а не виды Сахары. Мне поручено беречь от них несколько экспериментальных участков: дело в том, что ему втемяшилось в голову растить пшеницу. Я оглядываю местность;

---

3 Имеется в виду генерал Шарль де Голль, глава временного правительства Франции с 1944 по 1946 гг., президент страны с 1958 по 1969 гг. (прим. перев.)



у меня с собой камешки для пращи; скучно мне не бывает: читаю, смотрю на птиц, пою просто так, для себя; танцую; я счастливей этого человека.

Берега озера, возникшего от разлива вод по золотистому песку, пустынные и розовые. Мне нравится это место. Всюду посажена пшеница, тропинки выше уровня болота, похоже на шахматную доску, оросительные каналы придают особый облик этой экспериментальной ферме у края пальмовой рощицы, над которой возвышаются крыши павильончиков, утыканные голубыми, почерневшими на солнце, бутылками. Ветерок несильный: на песке остались птичьи следы.

На краю зарослей кустарников среди сухой травы у него уже выстроена бетонная пирамида.

– Моя могила, – говорит он, медленно склоняясь над пирамидой, и поглаживает седую бородку.

Его клонит в сон. В экспериментальном саду – тишина. Вокруг безлюдно, спокойно и белым-бело. Ветер, деревья, бетонный мавзолей. Иду вдоль оросительных каналов легким шагом – через водяной лабиринт. Солнце покалывает кожу и обжигает. Сверкание бутылок, которыми выложены стрелки между павильончиками, указывает время: скоро полдень.

Подхожу ближе и уже по звуку его шагов понимаю, что будет дальше. Он идет через

двор, захлопывает за собой деревянную дверь, запирается, ударяет по ней кулаком, чтоб убедиться, что дверь закрылась. Слышу его хриплый бесцветный голос, который дрожит от гнева на провинившегося слугу. Потом он стреляет из револьвера по старым бутылкам в углу двора. Белое, палящее небо.

34

Ослепленный полуденным солнцем, захожу к нему в комнату, в полумрак. Там, рядом с буфетом из Франции, мягко поблескивает фаянсовая раковина. Когда глаза у меня привыкают к сумраку, сажусь на кровать полковника. На прошлой неделе на столике у изголовья появился “Робинзон Крузо” – я спросил у него, зачем. “Тут важная для меня деталь: он вкапывал в землю столбы и каждый день делал зарубки; каждая неделя, месяц были у него отмечены: он не хотел терять Время,” – отвечает старик. Отдохнув после обеда, он в один прыжок вскакивает с постели, совершенно голый; из деревянного футлярчика с крышкой на медных шарнирах, которые он укрепил маленькими гвоздиками, достает пенсне, водружает на нос, надевает колониальный шлем; постукивает пальцем по стеклу барометра, так что стрелка падает до отметки “переменно”, одевается, затягивает ремень, просит меня подтвердить, что все в порядке и говорит:

– Какие красивые в пустыне сумерки; пойдем, прогуляемся.

– Я тебя люблю, – говорю я, когда мы подходим к красноватым в лучах заходящего солнца дюнам.

– Ты заметил, – спрашивает он, – что я не хожу в оазис, я решил удалиться от мира. – И потом, через несколько шагов: Подростки, которые жили со мной, меня разочаровывали; они бегали в деревню покупать сигареты, болтали с местными и сговаривались с моим поваром меня обворовывать. А ты – нет. Ноздри у тебя округлые и нежные, как у зверей; когда я целую твои губы, я думаю о кротости чувственных животных – они грустные, переменчивые, бывают смиренными, а бывают и не в духе.

Мы ужинаем перед верандой при свете лампы, которая стоит на столе, вынесенном во двор к самым деревьям. По ночам уже так жарко, что полковник ложится на крыше, на большой железной кровати. С тех пор, как потеплело, он спит там голый, чтобы быть поближе к пальмам и длинным розовым скалам. В лунном свете ясно видны наши белые крыши, – я сплю на них, где вздумается, обычно на башне, с восточной стороны, в тени зубцов, – оттуда видно и огромное небо, чистое или расчерченное белыми облаками, и все ночные светила.

### Глава III

Как-то вечером в ужасную жару я выхожу за ограду и направляюсь к источнику. Развязав кусок ткани, прикрывающий бедра, вхожу в воду там, где начинается болото. Меня останавливает какое-то бормотание. Трава шевелится. Мой старик сидит в теплой воде, развалившись, словно животное. Складки жира хлопают о голые колени, а теперь он откинулся на берег болотца, чтобы вода, текущая из родника, массирует ему живот. Намокшие волосы прилипли к черепу. Он показывает мне живот, до невозможности белый в вечернем свете:

– Это я тут купаюсь. Давай, залезай в воду.

Я уже привык к нему, но все равно убегаю, запах мокрой болотной травы бьет меня по губам, и они кривятся от подступающих слез.

Он зажигает лампу.

– Хочу тебя измерить.

Ставит меня к раскрашенной колонне, проверяет, ровно ли стоят на полу мои босые пятки и отмечает высоту, на которой находится макушка.

Когда старик засыпает, я перебираюсь с крыши на крышу, слезаю со стены, иду вдоль лилейного поля, вдоль нежных кустиков, которые скоро зальет лунный свет. Прислоняю голову к дереву, отдыхаю. Слушаю птиц, которые поют в этот вечерний час. Кругом рыщет остромордый белый пес, страдающий по какой-то собачьей красоте, мы сталкиваемся с ним на перекрестке тропок. Когда под ногами оказывается мягкий мелкий песок, меня начинает клонить в сон.

37

– Заниматься любовью без любви – ужасная тоска, а ты меня любишь.

– Я тебя люблю, – говорю я на краешке матраса при свете звезд. Помнишь тот вечер у источника... Когда я тебе признался, что я сирота; и как я тебя обнял и плакал, потому что нашел себе отца.

– Я всю жизнь буду вспоминать об этом.

– Какое красивое это болотце в лунном свете: высокая трава, и в ней полно зеленых лягушек, а в двух шагах – пустыня.

– Дарю тебе это место, где ты признался мне в любви.

– Тогда пошли, напишешь мне бумагу.

В комнате я ставлю на клеенку лампу, и старик встряхивает огонек в сосуде из огнеупорной глины. Когда лампа разгорается, он выдирает листок из тетрадки и пишет дарственную. Я вижу, как слова, которые родились у меня в голове, появляются на бумаге под его пером. До тех пор, пока не поставлена подпись, я обнимаю его с потрясенным и взволнованным видом. Выхватываю бумагу и сушу чернила, помахивая листком в раскаленном воздухе.

В чулане на задворках павильонов я разыскиваю свой чемоданчик, растрескавшийся в передрыгах. Встав на колени, проверяю замки и прячу в него этот тетрадный листок, стоивший мне стольких страданий.

Поднимаемся на крышу.

– Я думаю о тебе, о твоём будущем. Лучше учись и найди себе какое-нибудь место.

Но какое место я могу найти? Разве только место в людской памяти.

Он зажигает свечу, освещая одну сторону всех построек во дворе, и взгромождается на трон: это насест с дыркой, на который нужно взбираться по ступенькам. По понедельникам он нарезает бумагу квадратами; пачка уже кончается, ведь сейчас вечер пятницы. Рядом с его отхожим местом – вольера с птицами; падение человеческих экскрементов тревожит горлиц, и они удивленно воркуют. Потом он широким шагом пересекает двор, который из-за соляного осадка под ясным небом

выглядит невероятно белым, и запирается у себя. От двери в один прыжок отделяется остромордый пес и уносится в сад.

На крыше дома, окруженного темными равнинами, я стою перед кроватью и смотрю на голого старика, спящего на белой простыне в безмолвии ночи.

39

В артиллерийский бинокль мы разглядываем Марс. Подношу бинокль к своим голубым глазам и вглядываюсь. Сквозь линзы я вижу сияющую планету.

– Иди сюда, ко мне в кровать.

Но я иду на свою крышу и ложусь там, где мне нравится спать, у самого черно-белого неба.

Старику приходится кричать: между нами метров пятнадцать. Потом он облачается в желтый халат, надевает сандалии.

– Давай спустимся в дом, поедим.

Это неожиданное предложение подкрепиться перед рассветом мне нравится. Когда мы расставили тарелки и разложили вилки, мой старик говорит задумчиво:

– Покорми меня.

До меня не сразу доходит, и он объясняет мне как нельзя понятней.

– Почему ты плачешь? – спрашивает старик.

Проявляем фотографию, сделанную утром. При свете лампы я узнаю на ней себя.

– Ты очень красивый, – говорит старик и ведет меня на террасу. Его обещания сверкают, как блестящие бутылки, из которых выложены стрелки между павильонами. В постели, обняв меня, он говорит:

– Ну разве тебе плохо со мной? Каждый день ты пасешь моих коз, играешь, смотришь, как пролетают самолеты.

40

Я просыпаюсь от холода, небо затягивает. Облака стали густыми-прегустыми. Неожиданный дождь сгоняет нас с крыши в дом.

Негр на корточках перед патефоном. «Это малоприятная, но необходимая мера», – несется из громкоговорителя. Джава, которую танцевали лет двадцать назад, и весь репертуар Монпарнаса звучат в нашей кухне. Мы идем в заросли кустарника, ставим патефон на красную землю всю в трещинах от жары; я танцую. Полковник согласился нам дать всего один диск. Для разнообразия мы меняем число оборотов. Вот “Летучая мышь” в исполнении оркестра Балтимор-Променад. Я осторожно цепляюсь рукой за ветку большого эвкалипта, мои ступни отрываются от песка; с ветки на ветку забираюсь подальше в листву и сажусь на серой развилке, выбрав место поближе к луне.

В одной из клеток с горлицами яйцо упало у самых прутьев решетки, так что мне удалось его вытащить, помогая себе прутьи-



ком. Бесшумно поднимаюсь по маленькой лестнице, ведущей на наши террасы. Прикладываю яйцо под простыней к самому горячему месту на теле; смотрю на спящего старика. Глаза у меня наполняются слезами, они текут по щекам, я захлебываюсь рыданиями. Иду к повару, в его хижину. Я плачу, а он слизывает слезы с моих глаз. Ласково обхватывает руками мою шею. Гладит по волосам. От моих слез остаются мокрые следы на его широченных плечах.

– Ненавижу его! – всхлипываю я.

– Да нет, он тебя любит, и зря ты себя плохо ведешь.

Он заставляет меня любоваться коллекциями, а ему самому – поклоняться, словно богу, сам-то он просто трясется, до того ему нравятся собственные выдумки. На двери павильона “Я вспоминаю” предупреждение для посетителей: “Я никого не заставляю сюда входить, некоторые сцены могут шокировать”. Путешественники увидят там спаривающихся обезьян, которых он заставил меня вылепить.

После ужина огонек лампы перемещается из комнаты в комнату. Я-то знаю, что означает это брожение. Огонек наконец останавливается в гостиной, где мой старик рисует, ему это дается с жутким трудом. Я говорю, что с пейзажами я, пожалуй, мог бы справиться и

получше. Становлюсь на его место и быстро заканчиваю картину, которую он начал.

– Невероятно, – шепчет он, – ну-ка, нарисуй мне еще.

Рисую, раз уж он так хочет; потом намекаю ему, что хочу пойти спать, а старик требует: “давай еще один!” – и, заметив на моем лице страдание, добавляет:

42 – Если любишь, можно ведь и постараться.

Вечно ему в голову приходят какие-то гнусности. Меня качнуло, я вцепляюсь в стол, чтобы не свалиться на утоптанной земляной пол гостиной. Я вою и не могу остановиться, словно собака по мертвецу. Упрямо зажмуриваю глаза. Чувствую, как моего лица касаются осторожные руки старика, его холодные губы. Не открывая глаз, я проваливаюсь в темноту, и меня тошнит под стол.

Меня пригласили на свадьбу в пальмовую рощу в оазисе, это довольно далеко от нас. Я прохожу между группами людей туда, где светят огни, там я узнаю повара моего отца, и он мне советует быть осторожным: церемониться со мной здесь не будут, ведь я – причина скандала. Многие сочтут мою смерть справедливым наказанием за этот скандал, который из-за меня разразился; французы не станут искать мое тело; приговор мне был вынесен с самого первого дня и рассчитывать на жалость не придется.

Я вхожу в сад жениха; в этот момент в мой локоть ударяет камень, я не видел, кто его бросил. Второй камень попадает в лицо. У костра, за которым присматривают дети, я нахожу нашего повара; он вернулся, потому что беспокоится за меня.

– Почему ты здесь?

– Чтобы тебя защитить, – отвечает он.

Отсылаю его домой и подхожу ближе к огню. Когда приглашенным разнесли первые угощения, жених ведет меня на крышу, где он ест почти один в окружении слуг и детей. Меня еще раз предупреждают, что мне грозит опасность. И я решаю рискнуть, погибну так погибну – донесу запах смерти еще тепленьким до губ моего старика. Выхожу через низкую дверь, которой редко пользуются; от толпы отделяются несколько человек и начинается погоня в лабиринте жарких улочек, между пальмовых рощ, по песку, который гасит звук наших шагов.

Вбегаю в бордж, сердце у меня выпрыгивает, плечо в крови: его пропоролли ножом, – мне просто чудом удалось ускользнуть от преследователей; старика я нахожу в шезлонге, где он ждет моего возвращения. Мои губы, пропитанные запахом смерти, прикасаются к его губам, он стонет. У него вырывается что-то вроде хрипа. Он берет ключи и идет через двор.

Он не понимает, что с ним, не знает, что я хочу его смерти.

Он зовет меня со своей большой железной кровати.

– Ну что, малыш, не выспался, и все твой отец виноват?

Мой рот сам собой выдает ответ:

– Я хочу остаться с тобой.

44

По ночам в темноте я вою от ненависти и не могу остановиться. Лезу по скалам к самому небу. В один прыжок перемахиваю разломы в скале. Вершины скал – лабиринт под открытым небом, я плачу в нем, опираясь затылком о ствол винтовки, изорванная одежда подвязана к телу кожаными шнурками. Мои глаза, и винтовка, и патроны в патронташе на голых плечах поблескивают в лунном свете. Я прихожу в себя в этих каменных залах, укрываюсь в гранитных коридорах; мелом оставляю на скалах еле заметные знаки. Там, в вышине, среди скал – свои проулочки и постели; О, моя бессмертная душа под черным небом в восхитительном нагромождении звезд! Я оплакиваю тебя, сжимая в руках винтовку. Вдруг мне становится не по себе; мне страшно одному так далеко от дома моего отца.

Я часто возвращаюсь в этот лабиринт среди скал. Тут я слово за словом изучаю французский, я впервые в жизни пишу. Тут

я – один-одинешенек в такие теплые синие ночи, высоко над равниной, выше пальмовых рощ, выше розоватых утесов. Тут слышно, как воют шакалы. Я беру с собой наверх блокнот и чернила; опираюсь голым локтем о камни, ставлю рядом с собой свечу, и ее пламя колышет легкий ночной ветерок, тут я впервые в жизни слышу собственный голос; я бормочу и чувствую, что свободен, когда пишу под звездным небом, на скалах, в пустыне Бога. Облака дробятся огромными кусками, отделяются от белых туч и плывут в сторону луны.

В предрассветной тишине он зовет меня со своей большой железной кровати. Я притворяюсь, что сплю и не иду к нему. Но он опять зовет. В полумраке он изучает мое лицо, глаза. Может, ему пришло в голову, что я все запоминаю. Я тоже смотрю на него под звездным небом. Судороги, старик кричит, словно в агонии, и хрипит так громко, что вся пустыня отзывается эхом.

– Не могу не кричать. Наверное, далеко слышно.

Позже в ту же ночь я спрашиваю его:

– Почему ты не хочешь оставить меня в покое?

Едва подали голос первые ночные птицы, я ударяю в чан, звук получается чистый и красивый; сначала – осторожно, со вкусом,

легкие быстрые удары, потом, после долгой паузы, – с размаху; перед садом я перестаю барабанить и только снаружи расхожусь снова. Грохот, который я устроил, отражается от стен, усиливается; я теперь весь превратился в звук: нежный, взбудораженный, опасный уже и для меня, и для них.

46 Они зажигают фары машины. Негр связывает мне руки и швыряет на песок. Француз лупит меня ногами.

– Не зря я тебя ненавижу, – кричит он.

Они не знают, что со мной делать. Я закрыл глаза и слушаю их голоса, хриплый рык отца слышится в темноте моей ночи. Они крепко держат меня, не давая встать со скамейки; если бы кто-то наблюдал за нами из зарослей кустарника, он бы здорово удивился. Я приоткрыл глаза, и меня ослепил свет фар, бьющий прямо в лицо.

Лают собаки, мой отец отгоняет их ногами, они с негром выносят лампу. Я еще дрожу, когда они открывают ворота, повисаю у них в руках без чувств, и они бросают меня во дворе в углу на растрескавшуюся от жары почву.

На крыше хлева на белом известняке я черчу что-то вроде шахматной доски; играю, вместо фигур у меня камешки. И записываю то, что вижу. Когда стихают стоны и старик отпускает меня, я сижу с карандашом в руке, на темных холмах стучат невесомые афри-

канские барабаны, и кто знает, что будет со мною дальше: я брошен на произвол судьбы, лицом к лицу со всеми опасностями ночи.

## Глава IV

На этой кровати, в темноте, я вижу белый матрас с железными пружинами, на меня наваливается старик. Мне жутко больно, от тяжести его тела ноет лицо, обожженное навеки, только голубые глаза все еще живы и широко распахнуты. Скоро раздастся его крик: то ли хрип, то ли вопль наслаждения в тишине безлюдных просторов: может быть, его даже слышат в христианском селении за два километра отсюда, – особенно последний сверхъестественный стон, в котором изливается вся его радость.

Наконец он оставил меня в покое, я смотрю вниз на сарай без крыши, где хранят инструменты, похожий на заполненные мраком пчелиные соты, и меня с небывалой силой тянет к блокноту, я ныряю в чулан для балок и лопат, вытаскиваю из тайника блокноты, и вот мои руки прикасаются к растрескавшейся глине, в этих движениях – отчаяние всей моей сумрачной жизни.



Он меня сфотографировал; для него одного я появляюсь из темноты, на глазах у этого человека проступает мое изображение. Для него я оставил свои нескончаемые скитания по каменистым холмам, и вот теперь стою у его кровати, а он злится. Мое поведение его бесит, он так глупо кичится своим чином и возрастом, что хочется выть прямо в черное небо, под которым уже десять веков – война, обман и насилие.

Лежу без сил на кровати под открытым небом, и ночь освежает мне лицо. Что общего у меня с этим человеком? – думаю я, пока он пыхтит сверху, и от боли вцепляюсь ногтями в матрас; из насилия во мне рождается какой-то невероятный текст, – может быть, моими первыми буквами были бороздки, процарапанные ногтями по белой простыне; этот человек утоляет свою похоть, и, сам о том не догадываясь, обучает меня искусству письма – лицом к лицу с черным небом. Если б я согласился рисовать, как ему хотелось, – а его бы это действительно порадовало, – он обходился бы со мной по-другому, повесил бы мои акварели у себя в музее, у меня ведь, на самом деле, способности; но как мне рисовать по его указке, какими цветами сопротивляться этому человеку? Тут годится только текст, текст моей бессмертной души и моей свободы.

Прикасаюсь к его лицу; он начинает дышать глубже, дрожащие холодные губы пытаются поймать мой язык, но я прячу его глубоко в горле. Мои губы целуют только скалы; мое лицо открыто ему только на той фотографии; потом он ее порвал.

50 Он тоже смотрит на меня, облокотившись на край матраса; в его глазах я вижу, что мое лицо проявляется на темном фоне этой жизни ровно настолько, чтобы радоваться уже тому, что я существую: ведь стоит мне захотеть, и я сгину навеки или останусь жить в человеческой памяти.

Мой голос превратился в сиплый и грубый хрип; ну чего стоит моя голова, кому придет в голову читать книги, которые я пишу? Если бы он узнал, что я делаю, он запытал бы меня насмерть. Иногда искусство выбирает для тайной мести неожиданные средства; чем заняты мои дрожащие руки перед лицом ночных светил? Сомнений нет: я родился заново из желаний этого человека; плевать мне на дурацкие акварели, которые он заставлял меня рисовать, – какая удача выпала моей ничтожной судьбе, какой стиль я нашел себе у него на крыше, смертельно измотанный от близости смерти и крошечной нищеты; продвигаясь от страницы к странице, подставляя обожженное, уставшее до изнеможения тело золотистым ночным лучам.

При свете луны я пишу мелом на скалах у самого неба. Мы, дети этой пустыни, ненавидим вас; вы хотели утолить нами свои желания, искали Божий лик в наших лицах бродячих животных; все это вы найдете у нас в объятиях, но заодно – и свою смерть. Я лежу на спине и плачу, как не плакал ни разу в жизни, и все небо вместе со звездами отражается в моих слезах.

51

Что за текст явился мне там, на крыше хлева, и вместе с ним – обещание, что я останусь в человеческой памяти! Книжки, которые я пишу во мраке моей жизни, как будто погружены в черное небо и полны смертельной угрозы. Может, он догадался, что я могу все запомнить: в этот вечер он колотит меня что есть мочи. Вместе с ударами его палки я получаю свободу на веки вечные, сейчас в этом уголке пустыни, когда он бьет меня в лицо и кричит:

– Тоже мне, невинное дитя!

Сквозь облака пробивается лунный свет, и все больше огромных облаков сливаются в сухие серые волны и безмолвно плывут в ночной синеве. Из всех сил напрягаю зрение и разглядываю дом и крыши, принадлежащие этому человеку; он останется в памяти людей только благодаря мне, потому что я бесконечными летними ночами возрождаю все то, что знают о нем мои глаза, голубые, меняющие

цвет глаза, вечно разглядывающие камни и светила. По чистой случайности он встретился именно со мной, именно с тем, кто был способен написать о нем, и обрел свой единственный шанс на бессмертие, хоть и такой туманный, неверный шанс. В моих блокнотах на той белой крыше были и моя судьба, и судьба этого человека – все, что разыгрывалось там, под проплывавшими белыми африканскими облаками.

Он знает, что я слоняюсь под стенами форта, и не может удержаться и не позвать меня в свою большую железную кровать. Негр подзывает меня тихим свистом и дает поесть; я целую его широченные плечи и глаза с голубоватыми переплетениями сосудов; он одалживает мне расческу, свою я потерял, потом доводит до середины лестницы с глиняными ступеньками, ведущей на террасу, где старик уже на взводе ждет меня в нетерпении под самым Млечным Путем, пересекающим небо прямо над его кроватью.

Свеча в медном подсвечнике, поставленная на выступ стены, гаснет, а я слышу у самого уха дыхание старика, он ворочается, скрипят пружины. Мои мокрые и жесткие губы раскрываются, и он слизывает их соленый вкус. Его руки обнимают меня под голубой рубашкой, выцветшей за долгие ночи. Он часто пользовался мной вот так

по вечерам и, хотя мне по-прежнему было страшно, я уже привык; прижавшись лицом к железным прутьям кровати, я говорю со своей бессмертной душой. Мне кажется, это последний человек, которого я вижу перед тем, как умереть; он пыхтит на мне, задыхается, словно хочет меня убить, закрывает мне все небо. Он смотрит мне в глаза, а в них пляшут ночные отблески; ищет мои губы, и как только добирается до них, его сотрясают спазмы, он кричит от невиданной силы этой волны, извергая, изливая ее на меня. И кровь этого человека – моя кровь, боюсь даже сказать, до какой степени моя. Когда он перестает кричать, я кладу ладонь ему на лицо; он не возражает против этого жеста, против того, что я прикасаюсь к нему; рука у меня смуглая и легкая, под ногти забилося немного сухой розоватой земли.

– Я – как ты, – говорю я ему, – я тоже один на свете.

Высвободившись из его рук, ухожу к себе на крышу. Какой прекрасный между нами установлен договор. Свои блокноты я показываю только черному небу: они явились из темноты и скоро снова уйдут в темноту, если я умру.

Вопреки его воле, я обрел свою душу и бессмертие. Как хорошо мне теперь спится, самым сладким на свете сном, даже изорван-

ная одежда кажется мягкой, когда я засыпаю в ночной тишине, совершенно успокоенный под легким ветерком, как будто этот безупречный двор может защитить меня от смерти.

54

Я тогда нарисовал у себя на крыше клетки: эта легкая сеточка на беленой известию площадке продолжает притягивать мой взгляд и теперь, когда я уже далеко оттуда; нехитрая схема, в которую я заложил свой способ остаться в человеческой памяти. Я бросаю камешки, заново проигрывая ходы: этот камешек – он, а этот – я; о, эти ночные расстояния, которыми я отгораживаюсь от него на крыше хлева.

Совсем рядом со мной пустыня и бесконечное небо. В лунном свете я вижу на крыше свои блокноты, мягкость и силу слов. Они говорят, с какой трагедией смирился мой разум. И что я нашел на шахматном поле своей судьбы в черно-белых квадратах, начерченных углем и подправленных мелом. Кто и над кем одержал победу. Ночной спектакль из отдельных сценок, похожий на шахматную задачу, которую снова и снова проигрывают в темноте ночи.

Я отправлю свои блокноты наудачу; в Азию, в Европу, на острова Океании и станцию свой танец в каменистых долинах.

Голубые и черные облака. О великая победа блокнотиков, которые камня на камне не оставят от славы Завоевателей.

Этот человек ни о чем не догадывается, но только мои невзрачные блокнотики могут подарить ему бессмертие; он, дошедший в своей гордыне до того, что построил себе мавзолей при жизни, будет обязан всем мальчишке, который едва умеет писать; это битва с ангелом и я выйду в ней победителем; ни от него самого, ни от его музея не останется ничего – только то, что я спас от забвения в своих разноцветных блокнотах, охристо-желтых, синих и красных, тайно отправленных почтой из этой пустыни.

55

И ночь, и все разыграно, как я придумал; бросаю пригоршню камней на клетки, прочерченные на крыше – в пустыне, здесь ничто меня не отвлекает от диалога со своей судьбой, и никакой надежды на хоть какой-то человеческий отклик.

Свеча в подсвечнике из меди погасла, вечером, среди теней, я на своей белой крыше бросаю камешки на шахматные клетки, чтобы отвести смерть. Что за обрывки я

пустил гулять по свету, есть там такие, что еле разберешь написанное; да и кто будет читать блокнотики, пронизанные светом звезд, кому захочется смотреть моими глазами. Вот что я сделал, и хотя от писателей моего времени меня отделяет пропасть, в Африке у них обнаружился неизвестный соперник.

56 Звезды скрылись за облаками, а я все-таки поднимаю голову: в эту ночь движение звезд все больше отдаляет от меня угрозу смерти, мне становится радостно, спокойно, теперь что-то происходит уже отдельно от меня.

Ночь за ночью ветер высушивает мои слезы. Просыпаюсь по какой-то счастливой случайности задолго перед рассветом, стою на крыше над восхитительной геометрией двора и не знаю, а вдруг моя боль – просто безумный крик о задуманной под звездным небом победе. Что за детство мне выпало, вдалеке от людей и от мира, на службе у вечности. Из какого безмолвия я родился в этом оазисе с согласия ночных светил. А для старика я, быть может, просто сон, явившийся в эту пустыню из далекого прошлого. Теперь, когда я смирился с ужасом моей жизни, мне все кажется прекрасным, даже жестокость этого человека. И моя собственная. И ничего мне не нужно, только бы опираться вот так на локоть, почти засыпая, на волоске от смерти,



и говорить со своей душой, писать под утренними звездами, перед Всевышним, моим единственным Судьей и Господином.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Франсуа Ожье́рас

**ПУТЕШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ**

Путешествие отважного молодого человека по французской Африке 1950-х годов, от горных пастбищ Алжира к океану в Агадире и к великой реке Сенегал. «Последним полем экспериментов Запада» называл Африку Франсуа Ожье́рас, презиравший европейскую цивилизацию и считавший себя человеком будущего, дикарем, отказавшимся от законов, обычаев и мнений заурядных людей. Он не расставался с пистолетом и любил молодых пастухов, проституток в портовых борделях, своего дядю – полуслеплого мистика Марселя Ожье́раса – и безмятежных алжирских овец.

Эрве Гибер

**ИЗ-ЗА ВАС Я ПОВЕРИЛ В ПРИЗРАКОВ**

Толпы зрителей собираются на трибунах. Скоро начнется коррида. Но только вместо быка – плюющийся ядом мальчик, а вместо тореадора – инфантеро. 25 июня 1783 г. маркиз де Сад написал жене: «Из-за вас я поверил в призраков, и теперь желают они воплотиться».

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Тони Дювер

**ОСТРОВ В АТЛАНТИКЕ**

Тони Дювер считал, что дети и взрослые – два племени, объявившие друг другу войну. Война эта идет на острове в Атлантическом океане, где мальчики от 7 до 14 лет создают секретные анархические отряды. Кто грабит виллы богачей? Почему умерла безобидная старуха? Когда испытываешь безбрежный прилив отвращения, тоски и страха, возникает безумное, абсурдное желание воровать.

Тони Дювер

**ВЫСЛАННЫЙ**

Роман Тони Дювера был написан во Франции, охваченной молодежной революцией. И сама эта книга революционна. Дювер взорвал синтаксис и дал слово «высланным» – изгоям, которые прежде не имели права голоса. Персонажи романа – люди ночи, ищущие любви под парижскими мостами и на бульварах, мужчины, которым «слишком трудно хранить верность, если возле дома есть общественный туалет». Их голоса переплетаются, и все они рассказывают одну историю о похоти, которую невозможно утолить.

## Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Борис Лурье

### ДОМ АНИТЫ

Эту книгу написал в Нью-Йорке на английском языке родившийся в Ленинграде художник Борис Лурье (1924–2008). 5 лет он провел в нацистских концлагерях, в том числе в Бухенвальде. Почти вся его семья погибла. Борис Лурье чудом уцелел и уехал в США. Роман, который он писал много лет, был опубликован в 2010 году, после его смерти. Дом Аниты – сексуальный концлагерь в центре Нью-Йорка. Рабы угождают господам, выполняя их прихоти. Здесь же обитают призраки убитых евреев. Роман посвящен ритуалам этого тайного общества, которое постепенно распадается. Исчезает и прежний Нью-Йорк: в него прибывает Сталин и его танки, а сексуальные рабы отправляются в Албанию, казавшуюся автору идеальным государством.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Франсуа Сантен

### **УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ**

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–2010) рассказывает запутанную историю казненного в 1939 убийцы Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

Эдвард Морган Форстер

### **ФАРОС И ФАРИЛЛОН**

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был одним из создателей «александрийского мифа» XX века. Его усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ничего от города Александра, Клеопатры и Антония, превратился в одну из важных тем европейской литературы. Форстер разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города Александра Великого, а в обитателях городского дна – персонажей александрийской поэзии.

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Жиль Себан

**ДОМОДОССОЛА.**

**САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ**

В итальянском городе Домодоссоле весной 1967 года Жан Жене пытался покончить с собой в гостиничном номере. 12 февраля 2007 года моего юного любовника арестовали без документов и посадили в тюрьму в Нидерландах. Два этих события соединились в сознании и стали меня преследовать.

Эркюлин Барбен

**ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА**

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».



Книги издательств «Митин Журнал»  
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27  
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18  
«Москва», ул. Тверская, д. 8  
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8  
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5  
«Перелётный кабак», Мансуровский, 10

в *Санкт-Петербурге*:

«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15  
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор  
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет*:

«Ozon» [ozon.ru](http://ozon.ru)  
«Лабиринт» [labirint.ru](http://labirint.ru)

в *Украине*:

«Либра» [librabook.com.ua](http://librabook.com.ua)

Франсуа Ожье́рас  
**СТАРИК И МАЛЬЧИК**  
перевод *Алины Поповой*